

М. Горький

Жизнь Клима Самгина

Часть 4

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.6
ББК 84-4
Г71

Г71 **Горький М.**
Жизнь Клим Самгина: Часть 4 / М. Горький – М.: Книга по Требованию, 2021. – 360 с.

ISBN 978-5-4241-1425-0

В новом романе своем М. Горький поставил перед собою задачу изобразить с возможной полнотою сорок лет жизни России, от 80-х годов до 1918-го. Роман должен иметь характер хроники, которая отметит все наиболее крупные события этих лет, особенно же годы царствования Николая Второго. Действие романа - в Москве, Петербурге и провинции, в романе действуют представители всех классов. Автор предполагает дать ряд характеров русских революционеров, сектантов, людей деклассированных и т. д.

В центре романа - фигура «революционера поневоле», из страха пред неизбежной революцией - фигура человека, который чувствует себя «жертвой истории». Эту фигуру автор считает типичной. В романе много женщин, ряд маленьких личных драм, картины ходынской катастрофы, 9-е января 1905 г. в Петербурге, Московское восстание и т. д. вплоть до наступления на Петербург ген. Юденича. Автор вводит в ряд эпизодически действующих лиц: царя Николая II-го, Савву Морозова, некоторых художников, литераторов, что, по его мнению, и придает роману отчасти характер хроники.

ISBN 978-5-4241-1425-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© М. Горький, 2021

Максим Горький

Жизнь Клина Самгина (Сорок лет)

Повесть

Часть четвертая

Берлин встретил его неприветливо: сыпался хорошо знакомый по Петербургу мелкий, серый дождь, и бастовали носильщики вокзала. Пришлось самому тащить два тяжелых чемодана, шагать подземным коридором в толпе сердитых людей, подниматься с ними вверх по лестнице. Люди, в большинстве рослые, толстые, они ворчали и рычали, бесцеремонно задевая друг друга багажом и, кажется, не извиняясь. Впереди Самгина, мешая ему, шагали двое военной выправки, в костюмах охотников, в круглых шляпах, за ленты шляп воткнуты перышки какой-то птицы. Должно быть, пытаюсь рассмешить людей, обиженных носильщиками, мужчины с перышками несли на палке маленькую корзинку и притворялись, что изнемогают под тяжестью ноши. По смеялась только высокая, тощая дама, обвешанная с плеч до колен разнообразными пакетами, с чемоданом в одной руке, несессером в другой; смеялась она визгливо, напряженно, из любви к безопасности; ей было очень неудобно идти, ее толкали больше, чем других, и, прерывая смех свой, она тревожно кричала шутникам:

— Мой бог! Там стекло есть! О, Рихард, там ваза... На площади, пред вокзалом, не было ни одного извозчика. По мокрым камням мостовой, сквозь частую сеть дождя, мрачно, молча шагали прилично одетые люди. Дождь был какой-то мягкий, он падал на камни совершенно бесшумно, но очень ясно был слышен однообразный плеск воды, стекавшей из водосточных труб, и сердитые шлепки шагов. Стояли плотные ряды тяжелых зданий, сырость придавала им почти однообразную окраску ржавого железа. Чувствуя, как в него сквозь платье и кожу просачивается холодное уныние, Самгин поставил чемоданы, снял шляпу, вытер потный лоб и напомнил себе:

«Безвыходных положений не бывает».

Из-за его спины явился седоусый, коренастый человек, в кожаной фуражке, в синей блузе до колен, с медной бляхой на груди и в огромных башмаках.

— Две марки до ближайшего отеля, — предложил ему Самгин.

— Нет, — сказал носильщик, не взглянув на него, и вздернул плечо так, как будто отталкивал.

«Пролетарская солидарность или — страх, что товарищи вздуют?» — иронически подумал Самгин, а носильщик сбоку одним глазом заглянул в его лицо, движением подбородка указав на один из домов, громко сказал:

— Бальц пансион.

Забыв поблагодарить, Самгин поднял свои чемоданы, вступил в дождь и через час, взяв ванну, выпив кофе, сидел у окна маленькой комнатки, восстанавливая в памяти сцену своего знакомства с хозяйкой пансиона. Толстая, почти шарообразная, в темнорыжем платье и сером переднике, в очках на носу, стиснутом подушечками красных щек, она прежде всего спросила:

— Вы — не еврей, нет?

Она сама быстро и ловко приготовила ванну и подала кофе, объяснив, что

должна была отказать в работе племяннице забастовщика. Затем, бесцеремонно рассматривая гостя сквозь стекла очков, спросила: что делается в России? Проверяя свое знание немецкого языка, Самгин отвечал кратко, но охотно и думал, что хорошо бы, переехав границу, закрыть за собою какую-то дверь так плотно, чтоб можно было хоть на краткое время не слышать утомительный шум отечества и даже забыть о нем. А хозяйка говорила звонко, решительно и как бы не для одного, а для многих:

— Место Бебеля не в рейхстаге, а в тюрьме, где он уже сидел. Хотя и утверждают, что он не еврей, но он тоже социалист.

Улыбаясь, Самгин спросил: разве она думает, что все евреи — социалисты, и богатые тоже?

— О, да! — гневно вскричала она. — Читайте речи Евгения Рихтера. Социалисты — это люди, которые хотят ограбить и выгнать из Германии ее законных владельцев, но этого могут хотеть только евреи. Да, да — читайте Рихтера, это — здоровый, немецкий ум!

И уже с клекотом в горле она продолжала, взмахивая локтями, точно курдца крыльями:

— Германия не допустит революции, она не возьмет примером себе вашу несчастную Россию. Германия сама пример для всей Европы. Наш кайзер гениален, как Фридрих Великий, он — император, какого давно ждала история. Мой муж Мориц Бальц всегда внушал мне:

«Лизбет, ты должна благодарить бога за то, что живешь при императоре, который поставит всю Европу на колени пред немцами...»

Она была так толста и мягка, что правая ягодица ее свешивалась со стула, точно пузырь, такими же пузырями вздувались бюст и живот. А когда она встала — пузыри исчезли, потому что слились в один большой, почти не нарушая совершенства его формы. На верху его вырос красненький нарывчик с трещиной, из которой текли слова. Но за внешней ее неприглядностью Самгин открыл нечто значительное и, когда она выкатилась из комнаты, подумал:

«Русская баба этой профессии о таких вопросах не рассуждает...»

Дождь иссяк, улицу заполнила сероватая мгла, посвистывали паровозы, гроыхало железо, сотрясая стекла окна, с четырехэтажного дома убирали клетки лесов однообразно коренастые рабочие в синих блузах, в смешных колпаках — вполне такие, какими изображает их «Симплициссимус». Самгин смотрел в окно, курил и, прислушиваясь к назойливому шороху мелких мыслей, настраивался лирически.

«Моя жизнь — монолог; а думаю я диалогом, всегда кому-то что-то доказываю. Как будто внутри меня живет кто-то чужой, враждебный, он следит за каждой мыслью моей, и я боюсь его. Существуют ли люди, умеющие думать без слов? Может быть, музыканты... Устал я. Чрезмерно развитая наблюдательность обременительна. Механически поглощаешь слишком много пошлого, бессмысленного».

Закрыв глаза, и во тьме явилось стройное, нагое, розоватое тело женщины.

«Если б я влюбился в нее, она вытеснила бы из меня все... Что — все? Она меня назвала неизлечимым умником, сказала, что такие, как я, болезнь мира. Это неверно. Неправда. Я — не книжник, не догматик, не моралист. Я знаю много, но не пытаюсь учить. Не выдумываю теории, которые всегда ограничивают

свободный рост мысли и воображения».

Тут, как осенние мухи, на него налетели чужие, недавно прочитанные слова: «последняя, предельная свобода», «трагизм мнимого всеведения», «наивность знания, которое, как Нарцисс, любит себя собою» — память подсказывала все больше таких слов, и казалось, что они шуршат вне его, в комнате.

Достал из чемодана несколько книг, в предисловии к одной из них глаза поймали фразу: «Мы принимаем все религии, все мистические учения, только бы не быть в действительности».

«Если это не поза, это уже отчаяние», — подумал он.

В окно снова хлестал дождь, было слышно, как шумит ветер. Самгин начал читать поэму Миропольского.

Чтение художественной литературы было его насущной потребностью, равной привычке курить табак. Книги обогащали его лексикон, он умел ценить ловкость и звучность словосочетаний, любовался разнообразием словесных одежд одной и той же мысли у разных авторов, и особенно ему нравилось находить общее в людях, казалось бы, несоединимых. Читая кошачье мурлыканье Леонида Андреева, которое почти всегда переходило в тоскливый волчий вой, Самгин с удовольствием вспоминал басовитую воркотню Гончарова:

«Зачем дикое и грандиозное? Море, например. Оно наводит только грусть на человека, глядя на него, хочется плакать. Рев и бешеные раскаты валов не нежат слабого слуха, они все твердят свою, от начала мира, одну и ту же песнь мрачного и неразгаданного содержания».

Эти слова напоминали тревожный вопрос Тютчева: «О чем ты воешь, ветр ночной?» и его мольбу:

О, страшных песен сих не пой

Про древний хаос...

И снова вспоминался Гончаров: «Бессилен рев зверя пред этими воплями природы, ничтожен и голос человека, и сам человек так мал и слаб...»

Затем память услужливо подсказывала «Тьму» Байрона, «Озимандию» Шелли, стихи Эдгара По, Мюссе, Бодлера, «Пламенный круг» Сологуба и многое другое этого тона — все, что было когда-то прочитано и уцелело в памяти для того, чтоб изредка прозвучать.

Но слова о ничтожестве человека пред грозной силой природы, пред законом смерти не портили настроение Самгина, он знал, что эти слова меньше всего мешают жить их авторам, если авторы физически здоровы. Он знал, что Артур Шопенгауэр, прожив 72 года и доказав, что пессимизм есть основа религиозного настроения, умер в счастливом убеждении, что его не очень веселая философия о мире, как «призраке мозга», является «лучшим созданием XIX века».

Религиозные настроения и вопросы метафизического порядка никогда не волновали Самгина, к тому же он видел, как быстро религиозная мысль Достоевского и Льва Толстого потеряла свою остроту, снижаясь к блудному пустословию Мережковского, становилась бесстрастной в холодненьких словах полунигилиста Владимира Соловьева, разлагалась в хитроумии чувственника Василия Розанова и тонула, исчезала в туманах символистов.

Достоевского он читал понемногу, с некоторым усилием над собой и находил, что этот оригинальнейший художник унижает людей наиболее осведомленно, доказательно и мудро. Ему нравилась скорбная и покорная усмешка Чехова над

пошлостью жизни. Чаще всего книги показывали ему людей жалкими, запутавшимися в мелочах жизни, в противоречиях ума и чувства, в пошленьких состязаниях самолюбий. В конце концов художественная литература являлась пред ним как собеседник неглупый, иногда — очень интересный, — собеседник, с которым можно было спорить молча, молча смеяться над ним и не верить ему.

За окном по влажным стенам домов скользили желтоватые пятна солнца. Самгин швырнул на стол странную книжку, торопливо оделся, вышел на улицу и, шагая по панелям, как-то особенно жестким, вскоре отметил сходство Берлина с Петербургом, усмотрев его в обилии военных, затем нашел, что в Берлине офицера еще более напыщенны, чем в Петербурге, и вспомнил, что это уже многократно отмечалось. Шел он торговыми улицами, как бы по дну глубокой канавы, два ряда тяжелых зданий двигались встречу ему, открытые двери магазинов дышали запахами кожи, масла, табака, мяса, пряностей, всего было много, и все было раздражающе однообразно. Вспомнились слова Лютова:

«Германия — прежде всего Пруссия. Апофеоз культуры неумеренных потребителей пива. В Париже, сопоставляя Нотр Дам и Тур Эйфель, понимаешь иронию истории, тоску Мопассана, отвращение Бодлера, изящные сарказмы Анатоля Франса. В Берлине ничего не надо понимать, все совершенно ясно сказано зданием рейхстага и Аллеей Победы. Столица Пруссии — город на песке, нечто вроде опухоли на боку Германии, камень в ее печени...»

Серые облака снова начали крошиться мелким дождем. Самгин взял извозчика и возвратился в отель. Вечером он скучал в театре, глядя, как играют пьесу Ведекинда, а на другой день с утра до вечера ходил и ездил по городу, осматривая его, затем посвятил день поездке в Потсдам. К знакомым, отрицательным оценкам Берлина он не мог ничего добавить от себя. Да, тяжелый город, скучный, и есть в нем — в зданиях и в людях — что-то угнетающе напряженное. Коренастые, крупные каменщики, плотники работают молча, угрюмо, машинально. У них такие же груди «колесом» и деревянные лица, как у военных. Очень много толстых. Самгин решил посмотреть музеи и уехать.

Вот он в музее живописи.

После тяжелой, жаркой сырости улиц было очень приятно ходить в прохладе пустынных зал. Живопись не очень интересовала Самгина. Он смотрел на посещение музеев и выставок как на обязанность культурного человека, — обязанность, которая дает темы для бесед. Картины он обычно читал, как книги, и сам видел, что это обесцвечивает их.

Останавливаясь на секунды пред изображениями тела женщин, он думал о Марине:

«Она — красивее».

О Марине думалось почему-то неприязненно, может быть, было досадно, что в этом случае искусство не возвышается над действительностью. В пейзаже оно почти всегда выше натуры. Самгин предпочитал жанру спокойные, мягкие картинки доброжелательно и романтически подкрашенной природы. Не они ли это создают настроение незнакомой ему приятной печали? Присев на диван в большом зале, он закрыл утомленные глаза, воображая: чему можно уподобить сотни этих красочных напоминаний о прошлом? Память подсказала элегические стихи Тютчева:

...элизиум теней,

Безмолвных, светлых и прекрасных,
Ни замыслам години буйной сей,
Ни радости, ни горю не причастных...

Он встал, пошел дальше, взволнованно повторяя стихи, остановился перед темноватым квадратом, по которому в хаотическом беспорядке разбросаны были странные фигуры фантастически смешанных форм: человеческое соединилось с птичьим и звериным, треугольник, с лицом, вписанным в него, шел на двух ногах. Произвол художника разорвал, разъединил знакомое существующее на части и комически дерзко связал эти части в невозможное, уродливое. Самгин постоял перед картиной минуты три и вдруг почувствовал, что она внушает желание повторить работу художника, — снова разбить его фигуры на части и снова соединить их, но уже так, как захотел бы он, Самгин. Протестуя против этого желания и недоумевая, он пошел прочь, но тотчас вернулся, чтоб узнать имя автора. «Иероним Босх» — прочитал он на тусклой, медной пластинке и увидел еще две маленьких, но столь же странных. Он сел в кресло и, рассматривая работу, которая как будто не определялась понятием живописи, долго пытался догадаться: что думал художник Босх, создавая из разрозненных кусков реального этот фантастический мир? И чем более он всматривался в соединение несоединимых форм птиц, зверей, геометрических фигур, тем более требовательно возникало желание разрушить все эти фигуры, найти смысл, скрытый в их угрюмой фантастике. Имя — Иероним Босх — ничего не напоминало из истории живописи. Странно, что эта раздражающая картина нашла себе место в лучшем музее столицы немцев.

Самгин спустился вниз к продавцу каталогов и фотографий. Желтолицый человек, в шелковой шапочке, не отрывая правый глаз от газеты, сказал, что у него нет монографии о Босхе, но возможно, что они имеются в книжных магазинах. В книжном магазине нашлась монография на французском языке. Дома, после того, как фрау Бальц накормила его жареным гусем, картофельным салатом и карпом, Самгин закурил, лег на диван и, поставив на грудь себе тяжелую книгу, стал рассматривать репродукции.

Крылатые обезьяны, птицы с головами зверей, черти в форме жуков, рыб и птиц. Около полуразрушенного шалаша испуганно скорчился святой Антоний, на него идут свинья, одетая женщиной, обезьяна в смешном колпаке; всюду ползают различные гады; под столом, неведомо зачем стоящим в пустыне, спряталась голая женщина; летают ведьмы; скелет какого-то животного играет на арфе; в воздухе летит или взвешен колокол; идет царь с головой кабана и рогами козла. В картине «Сотворение человека» Саваоф изображен безбородым юношей, в раю стоит мельница, — в каждой картине угрюмые, но все-таки смешные анахронизмы.

«Кошмар», — определил Самгин и с досадой подумал, что это мог бы сказать всякий.

В тексте монографии было указано, что картины Босха очень охотно покупал злой и мрачный король Испании, Филипп Второй.

«Может быть, царь с головой кабана и есть Филипп, — подумал Самгин. — Этот Босх поступил с действительностью, как ребенок с игрушкой, — изломал ее и затем склеил куски, как ему хотелось. Чепуха. Это годится для фельетониста провинциальной газеты. Что сказал бы о Босхе Кутузов?»

Отсыревшая папироса курилась туго, дым казался невкусным.

«И дым отечества нам сладок и приятен». Отечество пахнет скверно. Слишком часто и много крови проливается в нем. «Безумство храбрых»... Попытка выскочить «из царства необходимости в царство свободы»... Что обещает социализм человеку моего типа? То же самое одиночество, и, вероятно, еще более резко ощутимое «в пустыне — увя! — не безлюдной»... Разумеется, я не доживу до «царства свободы»... Жить для того, чтоб умереть, — это плохо придумано».

Вкус мыслей — горек, но горечь была приятна. Мысли струились с непрерывностью мелких ручейков холодной, осенней воды.

«Я — не бездарен. Я умею видеть нечто, чего другие не видят. Своеобразие моего ума было отмечено еще в детстве...»

Ему казалось, что в нем зарождается некое новое настроение, но он не мог понять, что именно ново? Мысли самосильно принимали точные словесные формы, являясь давно знакомыми, он часто встречал их в книгах. Он дремал, но заснуть не удавалось, будили толчки непонятной тревоги.

«Что нравилось королю Испании в картинах Босха?» — думал он.

Вечером — в нелепом сарае Винтергартена — он подозрительно наблюдал, как на эстраде два эксцентрика изошряются в комических попытках нарушить обычное. В глумливых фокусах этих ловких людей было что-то явно двусмысленное, — публика не смеялась, и можно было думать, что серьезность, с которой они извращали общепринятое, обижает людей.

«Босх тоже был эксцентрик», — решил Самгин.

Впереди и вправо от него сидел человек в сером костюме, с неряшливо растрепанными волосами на голове; взмахивая газетой, он беспокойно оглядывался, лицо у него длинное, с острой бородкой, костлявое, большеглазое.

«Русский. Я его где-то видел», — отметил Самгин и стал наклонять голову каждый раз, когда этот человек оглядывался. Но в антракте человек встал рядом с ним и заговорил глухим, сиповатым голосом:

— Самгин, да? Долганов. Помните — Финляндия, Выборг? Газеты читали? Нет?

Оттолкнув Самгина плечом к стене и понизив голос до хриплого шопота, он торопливо пробормотал:

— Взорвали дачу Столыпина. Уцелел. Народу перекрошили человек двадцать. Знакомая одна — Любимова — попала...

— Как — попала? Арестована? — вздрогнув, спросил Самгин.

— Убита. С ребенком.

— Любимова?

— Что — знали? Я — тоже. В юности. Привлекалась по делу народоправцев — Марк Натансон, Ромась, Андрей Лежава. Вела себя — неважно... Слушайте — ну его к чорту, этот балаган! Идемте в трактир, посидим. Событие. Потолкуем.

Он дергал Самгина за руку, задыхался, сухо покашливал, хрипел. Самгин заметил, что его и Долганова бесцеремонно рассматривают неподвижными глазами какие-то краснорожие, спокойные люди. Он пошел к выходу.

«Любимова... Неужели та?»

Хотелось расспросить подробно, но Долганов не давал места вопросам, покачиваясь на длинных ногах, толкал его плечом и хрипел отрывисто:

— Да, вот вам. Фейерверк. Политическая ошибка. Террор при наличии

представительного правления. Черти... Я — с трудовиками. За черную работу. Вы что — эсдек? Не понимаю. Ленин сошел с ума. Беки не поняли урок Московского восстания. Пора опаматоваться. Задача здравомыслящих — организация всей демократии.

Самгин толкнул дверь маленького ресторана. Свободный стол нашли в углу у двери в комнату, где щелкали шары бильярда.

— Мне черного пива, — сказал Долганов. — Пиво — полезно. Я — из Давоса. Туберкулез. Пневмоторакс. Схватил в Тотье, в ссылке. Тоже — дыра, как Давос. Соскучился о людях. Вы — эмигрировали?

— Нет. Вояжирую.

— Ага. Как думаете: кадеты возьмут в тиски всю сволочь — октябристов, монархистов и прочих? Интеллигенция вся, сплошь организована ими, кадетами...

В густом гуле всхрапывающей немецкой речи глухой, бесцветный голос Долганова был плохо слышен, отрывистые слова звучали невнятно. Самгин ждал, когда он устанет. Долганов жадно глотал пиво, в груди его хлюпало и хрустело, жаркие глаза, шурясь, как будто щипали кожу лица Самгина. Пивная пена висела на бороде и усах, уныло опущенных ниже подбородка, — можно было вообразить, что пенятся слова Долганова. Из-под усов неприятно светились Два золотых зуба. Он говорил, говорил, а глаза его разгорались все жарче, лихорадочней. Самгин вдруг представил его мертвым: на белой подушке серое, землистое лицо, с погашенными глазами в темных ямах, с заостренным носом, а рот — приоткрыт, и в нем эти два золотых клыка. Захотелось поскорее уйти от него.

— Любимова, это фамилия по отцу? — спросил он, когда Долганов задохнулся.

— По мужу. Истомина — по отцу. Да, — сказал Долганов, отбрасывая пальцем вправо-влево мокрые жгутики усов. — Темная фигура. Хотя — кто знает? Савелий Любимов, приятель мой, — не верил, пожалел ее, обвенчался. Вероятно, она хотела переменить фамилию. Чтоб забыли о ней. Нох эйн маль¹, — скомандовал он кельнеру, проходившему мимо.

Самгину хотелось спросить: какая она, сколько ей лет, но Долганов откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и этим заставил Самгина быстро вскочить на ноги.

— Мне — пора, будьте здоровы!

— Что вы делаете завтра? Идем в рейхстаг? Не заседает? Вот черти! Где вы остановились?

Самгин сказал, что завтра утром должен ехать в Дрезден, и не очень вежливо вытянул свои пальцы из его влажной, горячей ладони. Быстро шагая по слабо освещенной и пустой улице, обернув руку платком, он чувствовал, что нуждается в утешении или же должен оправдаться в чем-то пред собой.

«Любимова...»

Она давно уже истлела в его памяти, этот чахоточный точно воскресил ее из мертвых. Он вспомнил осторожный жест, которым эта женщина укладывала в корсет свои груди, вспомнил ее молчаливую нежность. Что еще осталось в памяти от нее?.. Ничего не осталось.

Он чувствовал, что встреча с Долгановым нарушила, прервала новое, еще неясное, но очень важное течение его мысли, вспыхнувшее в этом городе. Раз-

драженно постукивая тростью по камню панели, он думал:

«Плох. Может умереть в вагоне по дороге в Россию. Немцы заруют его в землю, аккуратно отправят документы русскому консулу, консул пошлет их на родину Долганова, а — там у него никого нет. Ни души».

Вздрыгнув, он сунул трость под мышку, прижал локти к бокам, пошел тише, как бы чувствуя, что приближается к опасному месту.

«Родится человек, долго чему-то учится, испытывает множество различных неприятностей, решает социальные вопросы, потому что действительность враждебна ему, тратит силы на поиски душевной близости с женщиной, — наиболее бесплодная трата сил. В сорок лет человек становится одиноким...»

Поняв, что он думает о себе, Самгин снова и уже озлобленно попробовал возвратиться к Долганову.

«В сущности — ничтожество».

Но оторвать мысли от судьбы одинокого человека было уже трудно, с ними он приехал в свой отель, с ними лег спать и долго не мог уснуть, представляя сам себя на различных путях жизни, прислушиваясь к железному грохоту и хлопотливым свисткам паровозов на вагонном дворе. Крупный дождь похлестал в окна минут десять и сразу оборвался, как проглоченный тьмой.

Утром, неохотно исполняя обязанности путешественника, вооруженный красной книжкой Бедекера, Самгин шагал по улицам сплошь каменного города, и этот аккуратный, неуютный город вызывал у него тяжелую скуку. Сыроватый ветер разгонял людей по всем направлениям, цокали подковы огромных мохнатоногих лошадей, шли солдаты, трещал барабан, изредка скользил и трубил, как слон, автомобиль, — немцы останавливались, почтительно уступая ему дорогу, провожали его ласковыми глазами. Самгин очутился на площади, по которой аккуратно расставлены тяжелые здания, почти над каждым из них, в сизых облаках, сиял собственный кусок голубого неба — все это музеи. Раньше чем Самгин выбрал, в который идти, — грянул гром, хлынул дождь и загнал его в ближайший музей, там было собрано оружие, стены пестро и скучно раскрашены живописью, всё эпизоды австро-прусской и франко-прусской войн. В стойках торчали ружья различных систем, шпаги, сабли, самострелы, мечи, копья, кинжалы, стояли чучела лошадей, покрытых железом, а на хребтах лошадей возвышалась железная скорлупа рыцарей. От множества разнообразно обработанного железа исходил тошнотворно масляный и холодный запах. Самгин брезгливо подумал, что, наверное, многие из этих инструментов исполнения воинского долга разрубали черепа людей, отсекали руки, прокалывали груди, животы, обильно смачивая кровью грязь и пыль земли.

«Идиотизм, — решил он. — Зимой начну писать. О людях. Сначала напишу портреты. Начну с Лютова».

Каждый раз, когда он думал о Лютове, — ему вспоминалась сцена ловли несуществующего сома и вставал вопрос: почему Лютов смеялся, зная, что мельник обманул его? Было в этой сцене что-то аллегорическое и обидное. И вообще Лютов всегда хитрит. Может быть, сам с собой хитрит? Нельзя понять: чего он хочет?

«Буду писать людей такими, как вижу, честно .писать, не давая воли антипатиям. И симпатиям», — добавил он, сообразив, что симпатии тоже возможны.

Память произвольно выдвинула фигуру Степана Кутузова, но сама нашла, что

неуместно ставить этого человека впереди всех других, и с неодолимой, только ей доступной быстротой отодвинула большевика в сторону, заместив его вереницей людей менее антипатичных. Дунаев, Поярков, Иноков, товарищ Яков, суховатая Елизавета Спивак с холодным лицом и спокойным взглядом голубых глаз. Стратонов, Тагильский, Дьякон, Диомидов, Безбедов, брат Димитрий... Любаша... Маргарита, Марина...

Потребовалось значительное усилие для того, чтоб прекратить парад, в котором не было ничего приятного.

«Большинство людей — только части целого, как на картинах Иеронима Босха. Обломки мира, разрушенного фантазией художника», — подумал Самгин и вздохнул, чувствуя, что нашел нечто, чем объяснялось его отношение к людям. Затем он поискал: где его симпатии? И — усмехнулся, когда нашел:

«Анфимьевна, Раба. Святая рабыня. В конце дней она- соприкоснулась бунту, но как раба...»

В окна заглянуло солнце, ржавый сумрак музея посветлел, многочисленные гребни штыков заблестели еще холоднее, и особенно ледянисто осветилась железная скорлупа рыцарей. Самгин попытался вспомнить стихи из былины о том, «как перевелись богатыри на Руси», но [вспомнил] внезапно кошмар, пережитый им в ночь, когда он видел себя расколотым на десятки, на толпу Самгиных. Очень неприятное воспоминание. Вечером он выехал в Дрезден и там долго сидел против Мадонны, соображая: что мог бы сказать о ней Клим Иванович Самгин? Ничего оригинального не нашлось, а все пошлое уже было сказано. В Мюнхене он отметил, что баварцы толще пруссаков, картин в этом городе, кажется, не меньше, чем в Берлине, а погода — еще хуже. От картин, от музеев он устал, от солидной немецкой скуки решил перебраться в Швейцарию, — там жила мать. Слово «мать» потребовало наполнения.

«Красива, умела одеться, избалована вниманием мужчин. Книжной мудростью не очень утруждала себя. Рациональна. Правильно оценила отца и хорошо выбрала друга, — Варавка был наиболее интересный человек в городе. И — легко «делал деньги»...

Затем вспомнился рыжеволосый мудрец Томилин в саду, на коленях пред матерью.

«У него тоже были свои мысли, — подумал Самгин, вздохнув. — Да. «познание — третий инстинкт». Оказалось, что эта мысль приводит к богу... Убого. Убожество. «Утверждение земного реального опыта как истины требует служения этой истине или противодействия ей, а она, чрез некоторое время, объявляет себя ложью. И так, бесплодно, трудится, кружится разум, доколе не восчувствует, что в центре круга — тайна, именуемая бог».

Он заставил память найти автора этой цитаты, а пока она рылась в прочитанных книгах, поезд ворвался в туннель и, оглушая грохотом, покатился как будто под гору в пропасть, в непроницаемую тьму.

Путру Самгин был в Женеве, а около полудня отправился на свидание с матерью. Она жила на берегу озера, в маленьком домике, слишком щедро украшенном лепкой, похожем на кондитерский торт. Домик уютно прятался в полукруге плодовых деревьев, солнце благосклонно освещало румяные плоды яблонь, под одной из них, на мраморной скамье, сидела с книгой в руке Вера Петровна в платье небесного цвета, поза ее напомнила сыну снимок с памятника Мопас-